НАЧАЛОСЬ

На следующий день раньше обычного иду к Герцмарку. Он както спокойней — надеется, что *Judenrat* [все] как-нибудь уладит. Возможно, что за ценности немцы оставят все по-старому. Как-то легче стало. Может, гроза пройдет мимо.

Сегодня работа [на улице] Ликснас, 24, квартира 10. Плита. На дворе во время охоты за кирпичами подстрелил голубя. Синее небо, морозик, хороший день, и настроение тоже лучше, чем в последние дни. На дворе несколько рабочих чистят выгребные ямы, работают, как специалисты, их уже эта работа не угнетает — привыкли. Ко всему привыкают.

Работаю у милых людей: старик лет шестидесяти, его жена и дочери с внучкой лет одиннадцати. Маленькая комната и кухня. Чистота, порядок, люди, как видно, устроились не на один день. Говорили о волнующем нас всех вопросе, рассказываю, что слыхал, строим всякие предположения, рады, что слухи оказались слухами. За работой и в беседе проходит время. Девочка пошла на двор к соседям играть с детьми. Часы идут. Работы осталось немного, в общем я ее закончил, просто хочу немного растянуть время, чтобы сегодня не начинать другой. В такую погоду нужно отправиться по дворам на охоту, хочу на субботу опять набрать дичь. На полдороге мысли обрываются. В дверь с плачем врывается девочка:

— Мама, мама, мы должны отсюда уходить, за два часа квартира должна быть пустой, у нашего дома строят забор.

Значит, все же.

Механически чищу и складываю инструменты в портфель. Странно — ни волнения, ни беспокойства, какое-то невозмутимое спокойствие. Хозяева квартирки тоже как-то сразу притихли, ни слез, ни воплей, правда, как обухом по голове. Ждали этого, волновались, потом успокоились и вдруг удар, короткий и жестокий. Женщины начинают возиться, собирать пожитки, старик спешит на улицу узнать подробности. Мой мальчишка тоже удрал. Жму

Дом на улице Ликснас, 24.
Современный вид

руки женщинам, может, слишком сильно, говорю успокаивающие слова, не понимая их смысла:

— Не падайте духом, надейтесь и верьте: все кончится хорошо.

С напускным спокойствием, с фальшивой улыбкой и с тоской в душе прощаюсь.

Насколько лучше корове, барану. Их кормят, гонят на бойню, общество покровителей животных следит за тем, чтобы их не мучили понапрасну, на бойне их принимает специалист, их глушат и ловкой рукой перерезают горло. Кровь, [а] с нею жизнь истекает из тела, остается мясо.

Нас, перед тем как перебить, кидают из стороны в сторону, лишают самых примитивных прав человека, прав животного и то нам не оставляют. Постепенно тупым ножом режут душу, оставляя вопрос о том, когда нам перережут глотку, открытым.

По обе стороны [улицы] Ликснас лихорадочно строят забор. У каждого столба — человек. С конца [улицы], у Большой Горной, уже натягивают проволоку. По одну сторону — евреи, на другой копают ямы «арийцы». Немцы следят за темпом работы. Чего они так торопятся? Никто не убежит. У некоторых домов стоят саночки, уже складывают пожитки. На углу [улиц] Лудзас и Ликснас — плакат, кругом куча женщин. Прочитавшие с тихим плачем проби-

ваются через толпу и спешат к себе. Большинство не знает содержания, знает, что что-то скверное. Проталкиваюсь и громким голосом, чтобы все услыхали, читаю: «Все жители района — [от улицы] Ликснас до Лудзас, по Лудзас до Лаувас (конец гетто) должны в течение двух часов переселиться в общее гетто. [Они] имеют право забрать все свое добро, за исключением кроватей, кушеток и т. д. В течение этих двух часов следить за порядком будет еврейская полиция». После короткого молчания толпа тает, все спешат. У всех первый вопрос — куда? И правда, куда деться семье из нескольких человек? В гетто так уже все уплотнено, что яблоку негде упасть. Но и это не драма, при «наших оборотах» это роли не играет. Нас, как видно, из человеколюбия хотят поставить в такие условия, чтобы [мы] смотрели на последний акт как на избавление. Тоже точка зрения.

* * *

Дома у нас хаос. Сарайчик и кухня завалены всякими тюками — Ната Б[екер] лихорадочно перетаскивает свое добро. Вещи она собирается оставить у нас, а сама будет жить у родственников. Раньше плакала, что у нее нет припасов, теперь вдруг оказалось слишком много. На столе у нас десятифунтовая банка меду, и Дима ложкой в ней ковыряет, он так этим занят, ему так нравится такой вкусный и душистый мед, что [он] даже не замечает общего волнения.

Мимо наших окон тянутся саночки, детские коляски с тюками. Иные на спине тащат непосильную поклажу. Пара ребятишек тянут саночки с дровами, сложенными в детскую ванночку.

С минуты на минуту ждем следующего приказа. То, что он будет, всем ясно. Промелькнуло слово «акция». Оно прошло как-то мимо нас, и мы его не поняли. Скоро это слово нам станет слишком знакомым, от этого слова кровь будет стынуть.

Ждать пришлось недолго. Появились даже два приказа. Приказ номер один: 28 ноября (точно числа не помню)[1] в семь часов утра на Садовниковской улице должны выстроиться колоннами все мужчины начиная с семнадцати лет до [шестидесяти]. Приказ номер два: все неработоспособные мужчины и женщины с детьми должны

[1] В действительности 29 ноября 1941 года.

приготовиться к переселению в лагерь. Каждый переселяемый имеет право забрать сверток до 20 килограммов. О дне и часе переселения будет извещено особо. Точка.

Приказ номер один отступил как-то на задний план. Остался как будто только второй. Приняли эти приказы по-разному, в зависимости от характера людей. Все старики без исключения поняли свой смертный приговор, для них было ясно, что из лагеря они не вернутся. Тяжело было их видеть — все смертники, не знающие за собой вины.

У нас Алина тетка София Осиповна, очень сдержанная старушка. Сидит как будто спокойно, только слезы текут. У нее, кроме сына в Америке, больше никого нет. Просит меня и Алю передать ему когда-нибудь привет, но не говорить, как она кончила жизнь. И в эту минуту мать одержала верх над человеком: зачем лишние огорчения сыну?

О том, что собираются предпринять с мужчинами, не знаем, но и не волнуемся, что может случиться. Если наших жен и детей отправляют в лагерь в неизвестном направлении, то какая разница, куда нас отправят?

Все женщины занялись шитьем мешков в виде рюкзаков. Вышивают фамилии — может, смилостивятся и повезут вещи на телегах. За мной пришла соседка, живущая над Магариком, — Каплан. Ее муж совсем растерялся и только плачет, она просит меня повлиять на него. Прихожу. Каплан полулежит на столе, голову обхватив руками. У него истерика, рыдает навзрыд. Его сынишка лет семи стоит рядом с беспомощным видом.

— Каплан, брось, не распускайся, возьми себя в руки. Чего ты с ума сходишь? Ну, отправят нас на работы, жена твоя молодая, здоровая, тоже выдержит это время. Все проходит, наступит и для нас час освобождения, сильные доживут, погибнут только те, кто сами потеряют себя. — Говорю это и сам верю своим словам. Вместо сердца нужно себе создать камень, и кто сможет убить свое сердце — тот должен выдержать.

Постепенно Каплан успокаивается. Он знает, что у меня любимая жена, двое детей, [что] я не со стороны говорю, а тоже действующее лицо этой драмы. Переходим к обсуждению технической стороны: что забрать, как уложить и т. д. Уславливаемся утром пойти группой, чтобы быть среди знакомых. У меня узкие ботинки и мерзнут ноги. Теперь «мое» и «твое» потеряло значение. У Капла-

Гершон Магарик.
Фото 1920 года

на пара запасных «танков», они мне впору. Я их беру без «спасибо». У нас, кроме своих и себя, нет ничего ценного. *Omnia mea mecum porto*[2].

Все соседи друг друга снабжают чем могут. Теплые вещи, обувь, продукты — все стало как будто общим. Как мало бы ни было всякого добра, сегодня его слишком много, сегодня все широки и щедры. Как жаль, что только в такой момент нужда стала чем-то общим, «моего» и «твоего» больше нет, есть только «наше». Сегодня это так, но больше этого не будет, после этих дней я такого отношения больше не увижу. Будет опять только «я» и «мое».

По дороге к себе захожу к Магарику. Его теща сегодня не заговаривается. Клин вышибают клином. Она сегодня, как все, — нормальная. Или, может, мы все сошли с ума? Магарик сидит у печки, держит на коленях сынишку и спокоен (он всегда спокоен) — сильный, плотный парень, его так легко не уничтожить. С [его] женой целуемся, как сестра с братом. Мне все женщины стали дорогими и любимыми, мне их так жаль, и они так геройски себя держат. Женщина лучше переносит серьезные страдания — в этом я смог убедиться за эти несколько часов. Большинство мужчин сдали, и женщины их подбадривают и внушают надежду. Дети как-то инстинктивно чувствуют свою погибель, они тихи и пришибленны —

[2] Все мое ношу с собой (*латин.*).

ни капризов, ни слез, ни суеты. Мои тоже, как мышки, куда-то забились. Мама движется с окаменелым лицом, такого лица я на ней никогда не видал. Лицо — камень, маска. Аля отбирает для меня теплые вещи. Теперь вечер, завтра чуть свет уходить. Вернусь ли, увижу ли когда-нибудь моих дорогих? Я уже раз уходил почти на верную смерть, но тогда эта возможность меня не пугала, я шел с воодушевлением и желанием борьбы. Теперь мы идем, как бараны, это и больно, и пугает.

* * *

Аля поджарила шпик с яйцами. Чай с сахаром, мед, варенье. Пир во время чумы. Дети уже спят. Мама, Аля и я. Полумрак. Аля говорит:

— Рыжий, я чувствую и знаю, что с нами хотят покончить, бежим, заберем детей и бежим.

— Я согласен, но бежать мы можем только с Димкой, я беру его. Девочку мы взять не сможем, побег с девочкой у тебя на руках — это безумие.

— Ты прав, но оставить ее не могу, если так, погибну с ней.

— Мама, Аля… вы вправе решать. Хотите умереть все вместе? Как это произойдет, мое дело, никто не увидит смерти другого. Если согласны пусть одна из вас последует за мной.

Мама и Аля знают — это не слова. Они в этот момент переживают ужас, я — мгновения убийцы, убийцы своих, самых дорогих и близких. В моем уме с холодной рассудительностью проходит такая картина: мама идет за мной в сарай, у меня острый плотницкий топор, я им рубить умею — один сильный удар в висок. Аля выходит за мной во двор, и опять то же самое. Потом дети, за ними я в петле. Все так просто, так ясно. Мама:

— Я подчиняюсь Алиному решению, она имеет право решать о детях, я [сама] согласна.

Минута тянется, как вечность. Ног своих не чувствую, может, через момент картина, вставшая передо мной, станет реальностью. Я этого хочу для них, может, для себя тоже. Будущие страдания кажутся настоящими и ненужными, но быть убийцей против воли убитых не могу. У меня хватит сил выполнить решение, исполнить желание моей Али, но мое желание не есть закон над жизнью и смертью мне близких.

Ревека Ривош — мать автора.
Фото 1928 года

— Рыженький, не смейся надо мной, но я верю в Бога, я согласна все перенести, годами страдать, но не могу [допустить], чтобы ты стал убийцей своих детей. Поклянись, что ты этого не сделаешь. Как и что с нами будет, зависит от Бога, поцелуй меня.

Жребий брошен, выпьем чашу до дна.

* * *

Мы знаем, что это наша последняя ночь вместе. Увижу ли [еще] Алю — вопрос, то, что с мамой больше никогда не проведу ночи под одной крышей — это факт. Мы устали, но уйти в сон боимся, это конец нашей близости, после сна — прощание. С мамой вечно ссорился, любил [ее] последние годы, кажется, только жалея. За день она стала опять моей любимой, бедной мамой. Как тяжело напускать на себя «мужественность» и силу духа, когда душа разрывается, когда плачешь ни для кого не заметными слезами. Девочка, если погибнет, то, как травка, как цветок, без моральных мук, без страданий. Она маленькая и глупая. О Диме больно думать. Он для своих лет очень развит, у него уже внутренняя жизнь, он страдает уже не только как зверек, он маленький человек со всеми чувствами. Единственное, чего он не может понять, — это за что. Сидим молча у стола. У каждого свои думы, у всех — одна.

За перегородкой у мамы свет. Она не спит. Лежим рядом — Аля и я. У ног — Чарли. Дети мирно спят. Ночь. Тихо. Что будет завтра?

Я чувствую рядом Алю, но своего тела не ощущаю, как будто его нет. Мы не спим, но боимся шелохнуться. Неужели это факт, неужели завтра этих женщин с детьми выгонят на улицу и, как скот, куда-то погонят? Неужели это не кошмар, а действительно жизнь? Почему, для чего? Мы же изолированы, никому вредить не можем. Кому помешает, что в этом домике будут жить эти люди? Аля лежит с широко открытыми глазами, ни слезы, ни стона. Тоже маска, каменная маска. У меня, наверно, тоже. Мерно тикает будильник. Стрелка безжалостно совершает свою дорогу. Часы проходят. За перегородкой мама сажает сонную Лидию на горшочек. Она во сне что-то бормочет. Слышно журчание струйки, потом опять все тихо. Не могу больше молчать:

— Ленушка, послушай, ты же храбрая женщина, пусть мы будем в разлуке, но пусть наша любовь нам будет порукой, что мы не падем духом, будем бороться до конца за жизнь для нашей встречи.

— Если бы ты знал, сколько во мне душевных сил, ты был бы спокоен, боюсь только, что физически не выдержу, я же стала совсем слабой, потом дети — как, куда нас посадят голых, зимой, без вещей и еды. Нас же просто физически уничтожат, но обещаю тебе до последнего все переносить. Обними, я хочу несколько часов поспать у тебя на плече, как девочка.

На плече у меня ее голова, рубашка в этом месте становится мокрой. Слезы, тяжелые беззвучные слезы. Что происходит в этой женской душе, в тысячах таких душ — этого никто не знает, потому что этого словами нельзя описать. Я чувствую, что она переживает, но и себе не могу этого рассказать, для этого нет слов. Будильник все тикает. Скоро конец этой ночи. Чарли попросится на двор. Скоро мама затопит плиту. Скоро настанет утро.

* * *

На дворе еще ночь, но будильник говорит, что уже утро. Чарли вернулся со двора, Цапкин пришел с ночной охоты. Вода на плите кипит. Еще хоть минуту почувствовать рядом с собой Алю.

* * *

На дворе уже суетятся люди. Стоят кучками, маленькими группами. Темно, лиц не видно, может быть, это хорошо. Иду к Капла-

ну и Магарику. Квартиры сразу потеряли свой обычный вид. О порядке все позабыли. Видно, что отыскивали наиболее целесообразную одежду, другая, ненужная, валяется на полу. Она потеряла свою ценность, теперь по ней можно ходить. Каплан сидит в пальто и шапке, он уже свыкся с мыслью и спокоен. Со вчерашнего дня за одну ночь все как-то постарели. Жена Каплана, вчера еще молодая женщина, сегодня кажется пожилой, усталой еврейкой. Вместе с Капланом спускаемся за Магариком. Он тоже готов и ждет нас. Странный человек, такого невозмутимого спокойствия [я] не встречал. Я знаю, что он любит свою жену, [да] и трудно ее не любить — очаровательная, красивая молодая женщина, и ребенка он любит, но все это так великолепно скрыто, что он производит впечатление человека, испытывающего полное безразличие ко всем и ко всему. *М-те* Каплан умоляет нас не покидать ее мужа, быть ему поддержкой. На лестнице встречаем Фридмана. Он перед уходом еще должен побывать во всех квартирах, предупредить женщин, чтобы они в течение дня не выходили на улицу. Только что были из полиции и передали это распоряжение.

* * *

Улица уже полна народу. Все направляются на Лудзас, там выстраиваются в нечто вроде колонны, и колонны текут к Садовниковской. Стало светлей, мелькают серые лица с глазами загнанных зверей. Многие с мешками на спине. Это глупо. Логика говорит за то, что нас или еще отпустят на короткое время домой, или расстреляют. Как в одном, так и в другом случае мешки на спине — лишние. По мере приближения к Садовниковской ряды в колоннах становятся все длиннее и гуще. У Даугавпилсской улицы так запружено народом, что останавливаемся. Стало совсем светло, и в толпе мелькают знакомые лица. Выхожу из ряда, взбираюсь на крыльцо дома — хочу посмотреть, какой длины колонна. Почти вся Садовниковская черна. По тротуару проходят группы «ленточных»[3]. Всего, по грубому подсчету, нас должно быть не больше шести-восьми тысяч, но впечатление, что [нас] десятки [тысяч]. Странное впечатле-

[3] «Ленточные» (идиш *бендлдике* — люди с повязками, «повязочники») — латышская вспомогательная полиция и внешняя охрана гетто, одетые в гражданскую одежду либо в обноски формы бывшей латвийской армии или айзсаргов с зелеными нарукавными повязками.

Ивановская церковь в Риге.
Современный вид с территории бывшего гетто

ние оставляет такое шествие. Будто грандиозные похороны. Многих стариков ведут под руку молодые. Колонна медленно ползет вперед, пока на Садовниковской не останавливается совсем. Тротуары очищают от людей, всех сгоняют на мостовую. Из подворотен, из-за прикрытых ворот и калиток высовываются пугливые женские лица, но скоро это прекращается, появляется слишком много «ленточных» патриотов. Как видно, опасаются «восстания рабов», на каждом шагу группы из четырех-пяти до зубов вооруженных борцов за справедливость.

Солнце давно уже высоко, все им залито. Блестят кресты на церквах. Издалека они как будто кажутся символом смерти. Лютый мороз, и, чтобы не замерзнуть, большинство делает какие-нибудь «*pas*»[4]. Если не глядеть на лица, забыть про суть, а смотреть только на ноги, можно подумать, что людям весело. Стоим уже больше трех часов и все еще не знаем зачем. Кроме «ленточных» никого не видать, а «ленточные» — холуи немцев, они сами ничего не могут решать. Многие слабые старики расселись на тротуаре, иные — на своих мешках. Постепенно колонна теряет свой вид, она превраща-

[4] Па (*фр.*), т. е. танцевальное движение.

ется в большую, длинную толпу. Люди меняют свои места, разыскивают знакомых.

Встречаю архитектора Г[енриха] Розенберга (отца Сильвы Будо[5]). Знаю его давно, много с ним и для него работал. Человек он с изумительным юмором, стопроцентный оптимист и в то же самое время, как это ни странно, скептик. Он в жизни остался совсем один и чувствует себя беспечным и свободным. Что ему могут сделать? Что нам вообще могут сделать? Распорядиться нашей жизнью и смертью — это все. Америка как будто не то уже выступила против Германии, не то на днях выступит. Советы с каждым часом становятся сильнее, Германии и ее идее все равно крышка, а мы — ну, это роли не играет!

Издали вижу Григория Яковлевича [Рамма]. Стоит он, опираясь на палку с рукояткой из слоновой кости. Кажется, что палка — его единственная поддержка, что это все, что его поддерживает. Подхожу к нему. Его глаза от слез и мороза распухли и остались еле заметные щелочки. Усы уже не черные, а рыжевато-серые. [При] виде меня губы его начинают дрожать, и он долго не может вымолвить слова. Держит только мою руку и судорожно, урывками пожимает.

Генрих Розенберг.
Фото 1920 года

Сильва Будо.
Фото 1927 года

[5] Сильва Будо (урожд. Розенберг) — известная до и после войны в Риге танцовщица и хореограф.

— Прощай, Элик, последний раз тебя вижу. Тяжело знать, что скоро, как старая, никому не нужная тряпка, буду уничтожен, [как] и Фанни, и мы все, старики. Смотри, не падай духом, ты еще молод, ты до многого можешь дожить, вспоминай иногда своего старого учителя и друга. Дай, я тебя разок на прощанье поцелую.

Как будто по заказу, в этот момент подходит еврейский полицейский, выкрикивающий распоряжение о том, что все инвалиды и перевалившие за шестьдесят лет могут отправляться домой. Без единого слова — да и что я могу сказать? — обнимаю и прощаюсь с Григорием Яковлевичем. Неуверенной стариковской походкой он исчезает в толпе.

Почему-то нигде не могу найти Алиного старичка [Самуила Львовича]. Видно, с ним мне не удастся проститься, да и к чему?

Толпа вдруг ожила и зажужжала. Вдали слышна команда и громкие немецкие голоса. Все поспешили занять свои места, старики постепенно смываются. По рядам проносится шепот: «Идут!» Быстрым шагом по тротуару приближаются Станке, Тухель и К°. Лица этих мерзавцев выражают только безразличие и презрение, была бы хоть ненависть!

Еврейской полиции поручают разбить колонны на группы. Все служащие и технический персонал *Judenrat*'а — вперед. Работающие у немцев, на частных предприятиях вне гетто, «безработные» и т. д. — все в отдельных колоннах с определенным промежутком должны выстроиться на смотр. Для такой расстановки улица оказывается слишком короткой, и нам как первым приходится завернуть и выстроиться на одной из боковых улиц. Опять ждем и мерзнем. Курить опасно, но имеющие — все курят; если дым пускать в спину соседу, то он распыляется, и облачка не видать. Скоро час дня, а мы все еще стоим. Что это — тренировка? К двум часам наша колонна опять оживает. Мы выстраиваемся, рядом со мной Герцмарк и мой мальчишка Фридман — представители «цеха печников». Наш фронт, как на параде, обходит его величество Станке. Речь его и приказ лаконичны:

— Теперь два часа, бегом к себе домой, забрать свои пожитки и к двум тридцати собраться у ворот «маленького гетто». Марш!

Тридцать минут — времени не слишком много, терять его нельзя, к тому же неплохо после этого ожидания пробежаться. С Герцмарком уславливаюсь встретиться на углу [улиц] Маза Кална и Лудзас, а теперь — бегом.

Улица, как муравейник, все торопятся, бегут, не хотят терять драгоценных минут. Человек не из гетто, наверно, подумал бы, что эта улица [полна] безумных. Ни разговоров, ни криков, одна лишь дикая спешка. Запыхавшись, вваливаюсь в дом. Десять минут третьего. Через двадцать минут нужно быть у ворот. Необходимые вещи летят в чемодан, инструменты — в мешок; одеяло, подушка — в узел. Десять минут могу посидеть «спокойно». Узнаю новость: Лиза Р[акузина] родила ребенка, были очень тяжелые роды, но и она, и ребенок «вне опасности». Ой ли?

Уславливаемся с Алей, что куда бы нас ни послали, что бы с нами ни было, при первой возможности дать знать о себе. Я сообщаю в Зассенгоф, а Аля — кроме Зассенгофа еще Л[юсе]. Таким образом мы всегда сможем друг друга найти. С мамой этого уговора нет, он лишний. У мамы губы холодные, лицо все еще каменное. Сердце, как видно, уже умерло. У Али губы еще теплые, податливые, но в них нет уже жизни. Девочка спит, лежа на животике, вылезает розовая пяточка из-под одеяла. Пяточке щекотно от усов, и она исчезает под одеяло. Диму слишком прижал, но он не крикнул. Что с ними будет, куда их денут? Зачем, для чего и за что? Ненависть, отчаяние и надежда сплелись в один ком. Этот ком нельзя проглотить, он давит и сжимает горло. Самые сильные страдания причиняет не наше личное горе, а горе наших близких и наших любимых.

* * *

У ворот «маленького гетто» уже толпа. С чемоданами, мешками, тюками, некоторые даже на саночках привезли ворох «добра». Многие еще и теперь сохранили манию спасения вещей. Миновавшие ворота пускаются бегом захватить лучшие места. У ворот стража следит за порядком, иногда работают прикладом. В некоторых случаях не совсем неуместно. Люди в толпе, в желании как можно лучше устроить драгоценное тело, потеряли снова человеческий облик, стали толпой, а толпа имеет свои законы, свою психологию.

У ворот, как статуя, стоит красавец офицер, офицер бывшей латвийской армии, новый помощник коменданта гетто. Я узнаю его с первого взгляда, его не узнать нельзя. Я его помню лейтенантом, взводным командиром. В 1937 году я проходил повторное обучение инструкторов-резервистов в Саласпилсе, всего один месяц. Служил я в третьем взводе, он командовал вторым. Лейтенант

Альберт Данцкоп.
Фото 1931 года

Данцкоп[6]. Среди профессиональных военных у нас в армии было достаточно сволочей, но лейтенант Данцкоп и среди них занимал почетное место. Злой садист по натуре. Злой для развлечения, вместо папироски — он не курит. Неевреев он третировал с удовольствием, евреев — с наслаждением. Он красавец в том смысле, что принято считать красотой. Такие глаза встречаются редко. Видел их только у латышей и эстонцев, но говорят, что и у финнов они встречаются. Я бы назвал их вообще не глазами, человеческими глазами, а просто органом зрения. Эти глаза, как светлое прозрачное стекло, как мертвый красивый камень. В них нет ни злобы, ни скуки, нет ни любви, ни ненависти, они видят, но ничего не выражают. Искать жалости, пощады в этих глазах так же безнадежно, как заставить их засмеяться. Хороший помощник коменданта, слов нет.

---

[6] Альберт Данцкоп (1911—?) — бывший лейтенант латвийской армии, учился на медицинском факультете Латвийского университета (поступил в 1931, восстановился в 1943 году). С 1 октября 1941 года добровольно находился на службе в латышском полицейском батальоне, начальник внешней охраны Рижского гетто (окончательно утвержден в этой должности 16 февраля 1942 года). С 12 мая 1942 года по 13 ноября 1943 года находился на фронте, где 17 октября 1942 года был ранен под Ленинградом, но остался в части. В конце войны бежал с гитлеровцами. По некоторым сведениям, умер в 90-е годы в Канаде.

* * *

Герцмарк встретил своего знакомого — С. Финкельштейна. Жил он на Ликснас, 26, и собирается попасть опять в свою квартиру. Финкельштейн хочет там устроиться с нами. Торопимся, чтобы быть там одними из первых. Протолкнувшись через ворота, становимся составной частью той же дикой толпы. Толкаем, наступаем на ноги, бежим с нашими пожитками за Финкельштейном. Хорошо, что дом еще пуст и не приходится брать угол с бою, но нельзя терять лишней минуты, за нами уже мчатся другие.

Двухэтажный деревянный дом, квартира на втором этаже. Небольшая кухня, очень большая комната, в конце нее — дверь, ведущая в крохотную комнатушку. Вот в эту комнатку мы и устремляемся. В ней имеется одна кушетка, а нас трое. Герцмарк остается оберегать место, а Финкельштейн и я бежим в поисках тахты или дивана. В квартире этажом ниже чуть не дерутся, толкают друг друга и ругаются. Мы этим пользуемся и вытаскиваем матрац и узенькую тахту. Кражу замечают, когда мы уже на лестнице, без драки мы добычу все равно не выпустим, нам вслед летят проклятия, но до рукопашной не доходит. Потные и возбужденные вволакиваем

Дом на улице Ликснас, 26.
Современный вид

добычу к себе, закрываем дверь. Один шаг в борьбе за существование совершен.

Герцмарк страшно хозяйственный дядя. Ему хочется иметь «комфорт и удобства». Теперь он отправляется на охоту за «обстановкой». Через несколько минут он является с маленьким туалетным столиком, [далее] следуют стулья, разные хозяйственные принадлежности — метла, горшки, банки, сковорода и т. д.

В этой самой квартире еще вчера Финкельштейн жил со всей семьей. Ему лет тридцать пять, высокий, красивый, нервный брюнет. У него жена и двухлетняя дочь. [Он] представитель так называемой «денежной интеллигенции». Ему в данную минуту труднее, чем нам: мы в чужом месте и не можем так сконцентрироваться на всем происходящим, как он. Для него каждая дверь, бумага на окнах, лампа, даже метла тут же вызывают образ его жены и девочки. Ведет он себя вообще странно. Минутами напускает [на себя] нечто вроде удали, предлагает звать друг друга по имени и на «ты», жить, как в походе или на военной службе, жить, ни о чем не думая, кроме как о часе мести и расправы и т. д. Тут опять на него находит волна отчаяния, он кидается навзничь и трясется от рыданий. Слов успокоения у нас для него нет, где мы их найдем? Нам так же тяжело, но мы просто это иначе проявляем или скрываем.

В дверь то и дело врываются, но при виде нас в такой тесноте покушения на жилплощадь не происходит. Большая комната уже заселена разношерстным народом. Там еще шум и гам, возня и споры, там еще не пришли в себя и заняты устройством своего места.

Уже смеркается, скоро вечер. Завтра всем нужно собраться на улице Виляну для работы. Что сегодня происходит в «большом гетто»? Что будет ночью? Что будет с ними?

Vernichtungsaktion[7]. Что значит это слово? Звучит так «культурно» — что за этим кроется?

Ночь. Несмотря на горе и муки, от волнений, после стояния на морозе и борьбы за место все «маленькое гетто» спит мертвым сном. Никто не слышит револьверных выстрелов, никто не слышит окриков пьяных патриотов. Ночь, как черная губка, впитала в себя все.

---

[7] Акция уничтожения (*нем.*).

Улица Виляну.
Современный вид

* * *

Улица Виляну между Большой Горной и Лудзас. Улица короткая, но очень широкая, как длинная площадь. У Большой Горной новые ворота, ведущие из гетто на «волю». Вся улица полна народу. В некоторых местах строятся колонны. Ходят немцы и набирают себе людей. Некоторые [из них] стоят спокойно и от поры до времени выкрикивают: «*Luftwaffe!*»[8], «*SSP!*» и т. п. Слышны и латышские голоса: «*Lopkautuve*»[9] и т. д. Я в первый раз на рынке рабов и не знаю значения всего этого. Есть и другие наборщики [рабов]. Они просто хватают за шиворот и тащат. Места работы не объявляют, поставив своего «*Jud*'а» в колонну, под надзор другого ловчего, продолжают это дело, пока не набрано нужное количество. Место работы [у] таких господ имеет плохой привкус. Там дают «банки»[10], поэтому им приходится тащить людей силком. В это утро я и этого не знал и стал в колонну, без того чтобы меня ловили, — какая

[8] Военно-воздушные силы (*нем.*).

[9] Скотобойня (*латыш.*).

[10] Банка (*жарг.*) — удар кулаком; ставить (давать) банки — бить, избивать.

разница? Колонна моя носит красивое название «Кабель». В каждой такой рабочей колонне имеется свой *Oberjude*[11]. Если он сволочь, то ему относительно хорошо. Не знаю, для меня это по сей день загадка, становятся ли они сволочью, чтобы стать *Oberjude*, или становятся *Oberjude*, потому что сволочи. Некоторые из моих товарищей по несчастью, знающие уже этот «Кабель», ищут случая улизнуть. В темноте это некоторым удается, и немцу трудно набрать 120 человек, при подсчете всегда не хватает, дойдя до 119, это число пересчитывается раз пять. Наконец колонна готова — 120 человек. Не понимаю, как в нашем положении могут из-за неприятного места работы огорчаться. Мне трижды наплевать, куда погонят и какая работа. Набьют морду — тоже не беда. Единственное — заранее себе внушить не отвечать ударом на удар. Один ответный удар может стоить жизни очень многим. Это нужно помнить и никогда не забывать.

Выходим за ворота и быстрым шагом направляемся наверх по Горной. Вот мы на Московской, мимо проходит трамвай номер 5. Там, наверно, сидят бывшие фабричные знакомые, как недавно я ездил этим трамваем на «Кузнецовку». С Московской сворачиваем на узенькую улицу, ведущую мимо фабрики Брауна. Выходим на Двину. На острове лесопильный завод, а остров соединен с берегом дамбой. Вот на этой дамбе и прокладывают этот знаменитый кабель. Место работы зимой, правда, неуютное — ветер так и свищет, а мороз не мелкий. Дамба длиной метров 200—250. На второй [ее] половине видны следы начатой работы. Чем ближе подходим к лесопилке, тем глубже ямы. У конца дамбы часть ям уже готова. В колонне со мной имеются несколько типичных «буржуйчиков», для которых один вид этих ям и песка является чем-то чуждым и враждебным. Проскальзывает мысль, что при других условиях, если бы их заставили покопать землю — не как евреев, а «буржуйчиков», презирающих работу и любящих легкий хлеб, заработанный чужими руками, то было бы невредно недельку-другую их поучить. Теперь мне их жаль, теперь они страдают, не зная за что.

У фабричной конторы навес, под ним — кирки, лопаты, ломы. Все по очереди подходят и берут лопату и лом или кирку. По одну сторону дорожки уже вырытые ямы, по другую стоит немец и наблюдает. [Лишь] только колонна пришла в обратное движение и

[11] Старший еврей (*нем.*).

растянулась гуськом, как ноги этого господина заработали, как у футболиста, стараясь проходящим всадить удар в место пониже спины. Неудивительно: мороз, у него тоже мерзнут ноги, нужно же согреться. На всех нас у него не хватает выдержки или он уже согрелся — я пробегаю, не удостоившись этой чести.

Ямы для прокладки кабеля копают вот так: летом, когда земля мягкая, роют просто канаву 120—150 сантиметров глубиной. Зимою же немного иначе. Намечается направление, в котором роют отдельные ямы длиною в человеческий рост с соответствующей человеческим плечам шириной и глубиной 120—150 [сантиметров]. Роют их на расстоянии примерно трех с половиной метров друг от друга, потом дно ям соединяют туннелем. Прокопать его можно только лежа на боку или на животе. Самое неприятное и трудное — добраться до мягкого песка. Если не знать земляных работ и не уметь обращаться с мерзлой землей, это так же трудно, как вырыть яму в камне. Мне часто приходилось зимой вкапывать у себя заборные столбы, да и на военной службе копал землю, так что меня это не пугает. Нужно, правда, вначале приложить некоторое усилие, зато потом легко. Слабому человеку, конечно, эта работа не под силу, и для него это мука.

Имеются у нас три начальника. Главный — инженер-немец. Крупный субъект с обветренным красным лицом, с крошечными холодными глазками, узкими губами и широким подбородком. Ходит без палки. Говорят, в молодости был любителем бокса и предпочитает пользоваться кулаками, иногда — ногами. Зеленое пальто, такая же шляпа, высокие резиновые сапоги. Это руководитель всех работ, и мы его называем «эр» (он). Его ближайший помощник — парень лет двадцати пяти, брюнет с безвольным испитым лицом. Ходит с палкой. Пускает ее иногда в ход. Довольно часто играет в футбол. Это — «шейгец» (нееврейский хлопец). Третий — просто надсмотрщик, «погонщик скота», неопределенного вида поляк, ходит с палкой, но только для фасона. Евреям продает папиросы — 50 пфеннигов штука. Следит он за работой только тогда, когда вблизи «он» или «шейгец». Его просто зовут «пауэр» (мужик).

Работаем по двое над одной ямой. Один из нас откалывает ломом куски мерзлой земли, другой ее отбрасывает в сторону. Самим хочется скорее влезть в землю, чтобы хоть немного спрятаться от режущего ветра. На голодный желудок, не работая, страшно мерзнешь, мороз — наш самый лучший погонщик. Когда издали

появляется «он», весь ряд лихорадочно и быстро начинает копошиться. «Ему» доставляет изысканное удовольствие наступать стоящим в уже довольно глубоких ямах на плечи, делает «он» это будто вминает в землю, со стороны, во всяком случае, создается такое впечатление. «Шейгеца» работа не интересует, он только от поры до времени пропускает палочкой по спине какого-нибудь ярко выраженного семита. Меня он не замечает, чему я только рад. Часов в одиннадцать приходят наш *Oberjude* Гликсман и «шейгец». У последнего в руках две зарезанные курицы. Гликсман оживленно с ним о чем-то беседует, он не работает, разгуливает в шикарном полушубке и теперь, как видно, отправляется с «шейгецом» заказывать обед. Мы тоже имеем обед. [На] 30 минут имеем право собраться кучей и считать, что и мы пообедали. В помещение нас не пускают — там рабочие завода, а мы с ними не имеем права разговаривать. Отдельные рабочие уходят с завода на обед домой. Среди двух уходящих рабочих узнаю хорошего знакомого по фабрике А. Были мы с ним большие друзья, работали с ним в разных комиссиях и МОПРе[12]. Незаметно для других сталкиваюсь с ним на дорожке, и несколько минут идем рядом. [Он] сует мне в карман горсть папирос.

— Фронт уже приближается, не жди, пока вас всех перебьют, тикай, вот мой адрес…

— Еще рано, но, может, уже скоро.

Незаметно крепко пожимаем друг другу руку.

В общем, странное наше положение. Животное, чтобы оно работало, кормят. Мы должны работать, и нас не только не кормят, но еще и лупят. В жизни, даже самой скверной, есть своя логика, тут ее никак не найду.

Хорошо, что работу тут кончают рано, в четыре часа, до гетто всего минут десять, так что еще засветло будем «дома».

Вторая половина дня проходит так же, как первая, только трудней работать — очень холодно, и сильно есть охота. С нетерпением поглядываем на берег у мола — не идут ли наши провожатые, наши «йеки» (так евреи называют немцев). Наша яма уже сантиметров семьдесят глубиной. Мы сидим в ней, защищая себя этим от ветра и холода, пока не видно погонщиков. Увидев их, вскакиваем и опять работаем. Наконец в начале мола появляются две фигуры в

[12] МОПР — Международная организация помощи борцам революции (была создана в 1922 году и действовала до Второй мировой войны, в том числе и в Латвии; до 1940 года — нелегально).

длинных шинелях. Бежим опять к навесу, аккуратно ставим наши лопаты и ломы и выстраиваемся колонной. Немцы нас наскоро подсчитывают, и мы трогаемся. Мы так голодны, что скорее хотим быть дома, идем быстро, вот уже забор гетто, уже видны ворота. Немцы что-то рассказывают Гликсману. Через мгновение по колонне проносится слово «акция». В гетто была акция! Какая?

* * *

Забыт голод, мороза не чувствуешь. Скорее бы узнать, в чем дело. Последние несколько десятков метров мы не шагаем, а бежим. Стража в воротах нас не пересчитывает, обыска нет. Часовой глядит мимо нас. Неужели, неужели у него зашевелилась совесть? Наша колонна одна из первых, другие приходят много позже, и гетто почти пустое. На бегу узнаю, что часть гетто этой ночью увели, было много убитых, весь день работали рабочие команды по уборке трупов. Теперь из «маленького гетто» пускают в «большое». Бегу к воротам. Там наш «префект» еврейской полиции Ванд[13], у ворот — латышская стража. Постовой, повернувшись к нам спиной, смотрит куда-то мимо, теперь никто из них не смотрит нам в глаза. Мимо меня проходят несколько евреев с лопатами. Их пальто в песке, рукава и полы замазаны кровью. Лица ничего не выражают, кроме усталости.

Наконец я за воротами, я в «большом гетто». Улицы пусты, ставни домов закрыты, бумага на многих окнах спущена. Вспоминаю, что вчера еще местами был нестоптанный белый снег, теперь как-то все умято, на краю тротуара следы подков, конский помет и — лужи крови. Лужи, пятна, полоски, отдельные капли. Видно, что улицу уже убирали, но местами встречаются втоптанные в снег перчатки, детские калоши, разные мелочи. И опять лужи красной крови. То и дело наступаешь на маленькие медные трубочки — гильзы револьверных патронов. Мысли где-то далеко, не замечаю, как ногой попадаю в кровь. Странно — мороз, но она еще липкая. На ней, видно, лежал убитый, согревая ее остывающим телом, его, наверно, недавно забрали — проносится в мозгу. Чувствуешь, как внутри что-то оборвалось, еще каким-то чувством стало меньше, ты уже спокоен, ты уже привык, акция стала понятной и простой. Навстречу

[13] Макс Ванд эмигрировал в Латвию из Германии в 30-е годы.

попадаются отдельные евреи с мешками и чемоданами. Переносят из своих уже пустых квартир продукты, уже там ненужные, к себе. По тротуару проходят двое полицейских-«ленточных», слышны обрывки разговора, мелькнуло слово «*slepkavība*»[14].

У нас на дворе ничего не изменилось, только пусто. Еще светло, но окна в нашем домике затемнены. Чтобы не испугать, стучу два раза в окно — это [условный] знак Самуила Львовича. Открывают мне Аля и мама вместе. На них лица нет.

— Рыжий, это ты, я так испугалась, думала, папа в такое необычное время.

В квартире непривычный беспорядок, посуда не мыта со вчера, постели не заправлены. Всю ночь не спали, сидели, не раздеваясь, и ждали, что придут. Дети спали одетыми. Узнали уже вечером, что на Католической, Садовниковской и Московской уже началось. До утра не понимали стрельбы. Только утром, когда Аля хотела выйти на улицу, ее задержал Фридман, сказав, чтобы лучше не шла — улица усеяна трупами стариков. Стариков, мол, не хотят понапрасну кормить в лагере и для экономии и удобства уже в самом гетто расстреляли. Аля говорит, что был еврейский полицейский, заявивший, что акция прервана и, может, вообще второй не будет, во всяком случае, в ближайшую неделю можно быть спокойными и постараться жить по-старому, только без мужчин. Как утопающий хватается за соломинку, так и мы ухватились за этот кусочек надежды, но внутри что-то говорит, что надежда безнадежна.

В эту ночь многие покончили с собой, в том числе несколько врачей. Алина кузина Леля Бордо себе и [своему] Жоржику (сын пяти лет) перерезала на руках артерии. Ее утром нашли в кровати с Жоржиком на руках, залитых кровью. Жоржик был уже мертв, она же теперь в больнице, ей сделали переливание крови, и она выживет. Врачебная совесть и этика бывает преступней самого гнусного убийства. Зачем спасать Лелю? Прочитав или услыхав слова «Леля перерезала артерии себе и Жоржику», они доходят до слуха, до поверхностного сознания, но постарайтесь вдуматься, постарайтесь на момент понять и почувствовать, что должно происходить в душе такой Лели, когда она бритвой перерезает артерии на ручках своего обожаемого маленького Жоржика. И эту Лелю спасают. Неужели не понимают, что этим заставляют ее еще раз пережить весь

[14] Убийство (*латыш.*).

Елизавета (Леля) Бордо.
Фото 1927 года

ужас, неужели не понимают, что она должна будет вторично себя убивать — это ее единственное спасение. Леля, слабая избалованная женщина, оказалась сильнее, чем можно было ожидать, и — кто знает — может быть, умнее нас.

* * *

Многих знакомых и родных уже нет, дошли уже до двадцатых номеров по Лудзас. Гутманы и старики живут в 35-м номере, нескольких домов не хватило. Мария Ивановна, Баги, Данцигеры и много-много других уже где-то, в каком-то, может быть, вообще мифическом лагере. Может, вообще нет никакого лагеря. Глупые мысли.

Пришел Изя Фридман, спрашивает, не хочу ли [я] пойти за табаком или папиросами. В оставленных квартирах уже многие побывали и нашли, ему одному неуютно, а зная, что мне нечего курить, [он] думает, не пойду ли [я] с ним. Нужно торопиться, а то скоро ничего не найдем. В первый момент мелькает мысль: это мародерство, ее сменяет другая: почему [бы] нет? Если не мы, то заберут немцы или «ленточные».

— Конечно, подожди только, пока я поем, я сегодня еще ничего не ел.

Где-то в сознании мелькает мысль: неужели я ощущаю голод, могу думать о табаке, неужели мы так отупели, так озверели?

Дом на улице Лудзас, 35.
Современный вид

Ната Б[екер] поселилась у своих родственников на Католической [улице], значит, ее тоже уже нет. Большая часть ее съестных припасов осталась у нас, их теперь можно уничтожать, не жалея. Аля мне делает яичницу на три яйца. Несколько сотен лежат в ящике — недаром Ната у себя на Садовой разводила кур. Еще стакан настоящего чаю опять-таки с Натиным медом, и я готов, можем отправляться.

В людях скрыто непонятное чувство. Помню, много лет тому назад в Риге шел фильм «Западный фронт» (не по Ремарку)[15]. Показывал он очень реалистично и художественно войну на Западе. Кончался он сценой в лазарете, где врач сходит с ума — жуткая картина. Кроме неприятных ощущений, этот фильм не вызывал ничего, но пользовался большим успехом, и были любители, посещавшие его по два раза.

Я с Изькой иду за табаком, но в то же самое время ловлю себя на мысли, что нужно побывать в квартирах после разгрома, нужно увидать следы драмы. Знаю, что, кроме страшных и отвратительных картин, ничего не увижу, но что-то влечет.

---

[15] Имеется в виду фильм немецкого режиссера Георга Вильгельма Пабста «Западный фронт, 1918» (1930 год), носивший пацифистский характер и шедший вразрез с общим направлением немецкого кино в годы, предшествовавшие приходу к власти нацистов.

Квартира в Рижском гетто после акции уничтожения.
Декабрь 1941 года

Лужи крови стали чем-то неизбежным, на Лудзас они за один день стали обычным явлением. Мы проходим мимо них или просто попадаем ногой и не ужасаемся. На углу Даугавпилсской и Лудзас заходим в небольшой дом. Первое, что бросается в глаза, — разбитая входная дверь, грубая работа топора. Дверь первой квартиры — настежь. Кровати разрыты, на полу — подушки, одежда, хаос всяких вещей. На столе — всякие объедки, недопитый чай. Видно, что люди были выгнаны неожиданно и в спешке. Кто-то забыл паспорт, сую его в карман — отдам в «секретариат» «маленького гетто». Совсем забыл, за чем шел сюда, передо мной проходят картины, [которые] видела эта квартира. У кровати — ночной столик, на нем — нечто вроде пепельницы с окурками, они напоминают деловую сторону экспедиции. Открываю ящик. Фотографии каких-то людей в купальных костюмах, за свадебным столом, какие-то ребятишки, какие-то пилюли, какое-то лекарство, очки и три папиросы «*Rīga*». Все очень обыденно, нет ничего «ужасного», но для новичка тягостно, все думаешь, как будет выглядеть у тебя через [неизвестное число] дней, что переживали эти люди, кто они? Изька в шкафу нашел пачку «Спорта», ему больше везет. В кладовой среди всяких припасов Изька нашел баночку с маринованными боровичками, суем себе несколько штук в рот и идем дальше, в другую квартиру.

Всякое начало трудно, скоро мы станем специалистами по мародерству. В следующей квартире общий вид такой же, папирос и табака нет, мы не задерживаемся, идем на второй этаж. В квартире налево дверь полуоткрыта, сильный сквозняк. Проходим через кухню в комнату, там разбито окно и гуляет холод. Пол, стол, как всюду, только кровать по-другому: она не разбросана, в порядке и на ней кто-то лежит. Подходим и вглядываемся в лицо покойника. Старик, небольшая серая бородка, глаза стеклянным взором упираются в потолок. Отбрасываю одеяло, хочу посмотреть, нет ли на теле раны. Ее нет — видно, разрыв сердца или удар. Как-то, не зная для чего, прикрываю его опять, даже слежу, чтобы не было щелей — окно ведь выбито. В ящике стола нахожу начатую пачку табака «*Brinkman*». Темнеет, надо спешить. Для первого впечатления достаточно, еще насмотримся на такие квартиры.

По дороге захожу домой. Впуская меня, мама делает знак, чтобы не шумел — Аля заснула. В неубранной комнате на неряшливой кровати, прикрывшись пальто, спит Аля. Дети тоже уснули, хотя всего только семь часов. Зачем мне [их] будить, пусть спят, сон — это единственная «радость». Мама уговаривает забрать кое-что из съестного и осеннее пальто. Пальто можно забрать, может, правда пригодится, съестное пусть остается, мы ведь надеемся, что акции уже больше не будет. Детей и Алю вместо меня поцелует мама, нужно торопиться: до восьми часов все обязаны быть на месте.

* * *

Надежда и сомнения. Те, кто лишился своих, чьи семьи уже угнали, уверены, что и остальных выселят, они больше не надеются и смотрят на вещи ясно, они убиты, но трезвы. Мы, у кого родные еще на местах, живем надеждой, мы чуть ли не верим, что сбудется то, чего в [этот] момент сильнее всего желаем, мы еще слепы, мы не понимаем всей последовательности, всей системы акций.

* * *

Наша квартира в «маленьком гетто». Новый, еще не виданный мир. Пир во время чумы. Люди помешались на еде, все едят, у всех такой аппетит, что диву даешься. Из оставленных квартир натас-

кали продуктов все, кто успел побывать в «большом гетто». В кухне спорят из-за места для сковороды, пекут блины из картошки. Первая от нашей комнаты кровать — Аронсона. Он специалист по окраске тканей на какой-то фабрике. За ним специально посылают провожатого, и он имеет близкий контакт с неевреями. Забрал из «большого гетто» сына, мальчика пятнадцати лет, к себе. Сидят на кровати и уписывают коробочку бычков, он и сын [этим] так увлечены, что не замечают того, что рядом на кровати человек, потерявший прошлой ночью свою семью, трясется от судорожного плача.

В нашей комнате Герцмарк объясняет какому-то еврею положение на фронте. Тот уверяет, что взята Старая Русса[16] и что немцы скоро покинут Ригу. Герцмарк по памяти рисует карту и доказывает несостоятельность таких слухов, еврей на него за это явно обижен.

Зять Герцмарка, [еврейский] полицейский, остался с семьей. Вообще все семейные полицейские остаются со своими. С первой акцией ушел *Judenrat* и часть полиции. Сказали, что в лагере [они] будут исполнять свои обязанности и следить за порядком. Хоть маленькое утешение, что [там] будут свои мужчины. Откуда-то пришло известие, что первых выселенных поместили в Саласпилсе, в бывшем военном лагере. Разместили будто бы на койках, будто бы там тепло и даже имеется электрическое освещение. Сведения эти, как всегда, кто-то узнал от кого-то.

Двое из нашей квартиры работали по уборке и зарыванию трупов. Убитых в пределах гетто было не то 500, не то 800 человек[17]. Как правило, стреляли только старых и больных, случайно, может быть, убили несколько молодых и детей. Стреляли в голову — знаменитый «*Kopfschuss*»[18]. Все это так непонятно, так невероятно, что перестало быть ужасным. После известного предела как холод, так и жар перестают чувствовать. Рассказывают о работе на кладбище, как о чем-то почти естественном, тут зарывают кабель, там — трупы.

Финкельштейн как ушел, так и не вернулся, остался с женой и дочкой. Вместо него в нашей каморке устроился Изька Фридман

---

[16] Старя Русса — город, в то время в Ленинградской области.

[17] В ходе первой акции уничтожения узников Рижского гетто 30 ноября 1941 года на улицах гетто остались около 800 убитых.

[18] Выстрел в голову (*нем.*).

с приятелем Моткой. Спят они на кровати Финкельштейна. Мотка — занятный веселый малый, несмотря на наше положение и на акцию, он не падает духом, сыплет шуточками и прибаутками, в общем все похабными, чем приводит в ужас Герцмарка. В первый же вечер вытащил из кармана колоду карт и собрал компанию [для игры] в очко.

Утром, чуть свет, собираемся на месте сборища рабов. Начинается та же картина. Работал день в гавани, грузил уголь. Был опять на «Кабеле», жутко промерз там, но, как ни странно, опять не удостоился побоев. В «[большое] гетто» к семьям нас эти дни не пускают, но наши полицейские уверяют, что там все спокойно и есть надежда, почти уверенность, что первая акция останется единственной и уцелевшие смогут спокойно оставаться на своих местах. О том, что стало с первой партией выселенных, ничего не знаем. Самые разнообразные слухи, среди них есть даже совсем фантастический, будто вообще ни в какой лагерь [никого] не отправляли, а партиями направили в ближайшие леса и всех без исключения перестреляли из пулеметов. Этому, конечно, никто не верит и считает плодом больной фантазии. Допускаем возможность, что часть слабых и больных по дороге в лагерь расстреляли, но к этому мы уже привыкли.

У нас в «маленьком гетто» опять образовались всякие общественные начинания, как-то: амбулатория, община, технический отдел и вновь организованная [еврейская] полиция. Герцмарк меня обещался устроить при техническом отделе в качестве печника, столяра и вообще по всяким ремонтным работам. Так как связь с внешним миром меня в данный момент не слишком интересует, то мне это по многим причинам улыбается. В полиции нам обещали, что сможем раз-два в неделю навещать семьи.

На фронте дела немцев неважные, и мы надеемся, что в любой день может начаться повторение наполеоновского похода. Уже последние числа ноября, и скоро наступит настоящая русская зима, на фронте появилась новая сибирская армия, немцы к такому холоду не подготовлены, и после жертв, крови и унижения над нами скоро-скоро взойдет опять «солнце свободы».

* * *

Сегодня, придя с работы, узнал, что пускают в «большое гетто» — шесть дней, как не видел своих. В наших условиях шесть дней — это вечность. Не заходя к себе, побежал к воротам. Часовой, греясь у костра, не интересуется никем, и я беспрепятственно выхожу на Лудзас. За эти дни выпал свежий снег, и улица со своими лужами крови покрыта белым ковром, спрятавшим все следы последней трагедии. Бросается в глаза пустота. Из этого района ведь никого не выселяли, дома битком набиты народом, а какая безлюдная улица! Скорей бы увидеть Алю, маму и детей. Спешу, чтобы не потерять драгоценных минут. Наш двор весь занесен снегом, только узкие тропочки ведут от дома к дому. Наш «особняк» как будто утопает в снегу, он стал еще ниже, а мне вдруг почему-то — близким и дорогим.

* * *

Аля в доме навела опять порядок, и стало опять уютно. Они как будто успокоились и тоже надеются, что их судьба милует. Мы почти не разговариваем, сидим прижавшись и гладим друг другу руки. О чем говорить? Сегодня мы живы, а что будет завтра, никто не знает.

Нарубил на неделю дров, вычистил трубу в плите, покушал картошки с солью — теперь опять нужно экономить, — и вот уже опять нужно прощаться. Кто знает, когда снова дадут свидание. Только бы не выселили. Если на днях пришлось бы уходить, Аля не выдержит, у нее как раз сегодня появились гости (менструация), и она очень слаба. Сколько раз мы уже прощались как будто навсегда, но пока везло. Сегодня ухожу тоже, как, может быть, навсегда. Прощай, мама, детки, прощай моя родная Ленушка, может, через неделю опять приду. Что бы ни было, как бы ни было, мы должны вытерпеть и все перенести, любовь и вера в победу нас должны поддержать. Не плачь, Ленушка, перемелется му́ка — мука́ будет.

За мной закрылась дверь. На небе первые звезды. Под ногами скрипит снег. Хочется вдыхать полной грудью этот зимний воздух, но что-то неведомое сжимает грудь.

Маза Кална, Лудзас уже за мной, вот часовой у костра. Ворота, опять «маленькое гетто».

Улица Маза Кална.
Современный вид

* * *

За то время, что меня не было, население нашей квартиры увеличилось. Появились несколько совсем старых. Они старательно побрили бороды, даже головы, чтобы не было видно седых волос. Хотят казаться молодыми и работоспособными.

Среди нашей публики явно чувствуется два лагеря. Один — чьи семьи угнали, другой — у кого они остались. Первые не скрывают своей зависти и на нас, «счастливых», как будто бы в претензии. Утешают они себя тем, что и наших скоро постигнет та же участь. Как будто бы чужое горе может облегчить свое, но такова уж натура людей.

Пришел к нам бывший главный артист еврейского театра и рассказывал анекдоты из закулисной жизни. Он любит преклонение и старается даже здесь произвести «впечатление». Возбужденно-грустно проходит вечер. Понемногу начинают укладываться на покой. С иной кровати уже раздается посапывание, а иногда и стон.

В наших комнатах темно, слышно перешептыванье, отдельные слова, затем наступает гнетущая тишина. Мотка и Изька спят. На тахте рядом со мной Герцмарк. Мы не спим, и у каждого свои мысли, а мысли об одном. Светящаяся стрелка будильника Герцмарка показывает 11.30 — скоро уже полночь. Мысли начинают сбивать-

ся, я, наверно, сейчас усну. Но что это? Как будто где-то стучат, совсем близко, и вдруг ночную тишину разрывает дикий окрик:

— *Aufmachen. Schweinehunde, oder wir schiessen!*[19]

Мигом мы на ногах и у окна. Осторожно отодвигаем бумагу, выглядываем на улицу. Благодаря снегу и кусочку луны все ясно видно. Напротив наших окон у двухэтажного дома группа вооруженных людей стучит в дверь, вдоль нашего заграждения — усиленная охрана из солдат. Мигом по квартире проносится слово «акция». По ту сторону улицы — «большое гетто», в этом доме уже только женщины и дети, а мы, мужчины и их защитники, через щель бумаги видим и в бессильной ненависти кусаем губы. Никто из жильцов, видно, не решается пойти к дверям, и это приводит в бешенство банду героев. Крик и ругань становится все сильнее, раздается выстрел. В темноте виден блеск топора, и ставни в погребной квартире разлетаются. В погребе свет, в окне исчезает солдат, и через несколько минут парадные двери открыты. Мимо открытого окна в погребе промелькнула женщина с дорожным мешком на спине. На мешке ярко выделяется желтая звезда. Со стороны «большого гетто» слышны отдельные выстрелы, там происходит то же самое. [Знаю], в этот момент мою Алю с детьми тоже выгоняют в ночь, в неизвестность. Из дома напротив начинают выходить согнутые фигуры. Их выстраивают по двое в ряд. У некоторых женщин к спине привязан мешок, а на руках или в колясочке ребенок. Взад и вперед шагает солдат с папиросой в зубах. Дом номер 9, хоть двухэтажный, но длинный, жильцов много, колонна все растет. На дворе мороз, а женщины с детьми стоят и стоят. Скоро час ночи. Банда героев, как видно, не торопится покинуть дом, они там подкрепляются, готовясь к благородному занятию. Наконец, уже после половины второго ночи, банда выходит, раздается команда, и под веселый говор и брань героев колонна задвигалась по направлению к Лудзас. Перед нашими окнами оказался опустевший дом номер 9. Двери открыты, в погребе через открытую ставню и выбитое окно видна разгромленная квартирка, лампочку никто не потушил.

Все чаще и чаще раздаются выстрелы. Каждый выстрел — это точка над чьей-либо жизнью. Теперь, когда мы ничего не видим, [а] только слышим, начинает работать фантазия. Каждый себе рисует картину происходящего с его семьей, с его родными и близкими.

---

[19] Встать, собачьи свиньи, или будем стрелять! (*нем.*)

Некоторые из большой комнаты громко рыдают, большинство молчит и окаменело. Лежу на кровати, тела не чувствую и души не чувствую — как деревянный. У меня опять уже знакомое чувство — просто не могу понять, не могу постигнуть. Знаю, что маму, Алю, Диму, дочку выгнали, куда-то погнали, но не могу осознать, это на моей поверхности, это просто не доходит. Почему, за что? Кому это нужно? Это неправда, это мне снится.

В доме уже движение. Утро, но на дворе темно. Я сегодня на работу не пойду, я должен знать, как прошла акция. Чтобы не быть схваченным охотниками за рабами, иду с Герцмарком в технический отдел. Там уже все известно. Этой ночью угнали все остальное население «большого гетто». Приказ пришел неожиданно, даже в *sardze*[20] ничего заранее не знали. Вся еврейская полиция «большого гетто» тоже ушла. На улицах большой беспорядок, и часам к девяти должна собраться рабочая команда для уборки. Технический отдел должен предоставить группу рабочих для работы на… кладбище. Примыкаю к последней, хочу видеть самую жуткую сторону драмы. Это не любопытство, а как будто бы из желания искупить хоть отчасти свое существование. Скоро станет светло, тогда пойдем. Из склада вытаскиваем лопаты, кирки, ломы. На дворе перед амбарами собрались люди с санками и тележками. Как видно, ночью постарались, и работы хватит. На всех лицах видны следы бессонной ночи. Все серы и молчаливы. Все теперь равны — нет больше «счастливых», теперь все несчастные. Нет больше зависти — некому завидовать.

Солнце взошло, и как-то незаметно настало светлое утро. Улиц в «большом гетто» не узнать. Где вчерашний снег? Он как будто исчез, умят, придавлен и загажен. Улица после погрома. Я видел улицы после отступления армии, с разбитыми телегами и оружием, с трупами лошадей и людей, с всевозможным военным хламом, но то были следы боя, а тут — следы бойни. Улица, залитая кровью, белый снег, ставший за одну ночь серым с красными узорами. Трупы — все старики и женщины. Помятые колясочки, детские саночки, сумочки, перчатки и калоши, мешочки с продовольствием, бутылочка с соской, в ней замерзший тум, детский ботик. И по сторонам трупы. Они еще теплые, мягкие, лица залиты кровью, глаза открыты. Трупы относятся к [задаче] моей группы — кладбищенской, нужно их свезти на кладбище. По два человека на санки или телегу. Ху-

[20] Стража, охрана (*латыш.*).

Стена Старого еврейского кладбища в Риге.
Фото 30-х годов

дые трупы уже окоченели, и их удобно взять и погрузить, толстые же женщины еще совсем мягкие, и их никак не ухватить, никак не поднять, они как-то выскальзывают из рук. Все время кажется, что эти толстые женщины еще живы и вот-вот завопят. Когда везем их на тележке, то они колышутся, как живые, а кровь комьями падает на белый снег. На них так много надето, что они долго еще будут теплыми, теплыми же [их] и зароют.

Мы возим трупы пока только за ворота кладбища[21], там складываем отдельно рядами мужчин и женщин. Члены общины заби-

[21] Речь идет о Старом еврейском кладбище, существовавшем с 1725 года и находившемся в Московском форштадте между улицами Самарина (ныне Ломоносова) и Маскавас. В 1883 году были возведены кладбищенские ворота, а годом позднее территория кладбища была обнесена кирпичной стеной. В 1903 году на кладбище была построена молельня, а в 1905 году — покойницкая (архитектор П. Мандельштам). 4 июля 1941 года были сожжены все имевшиеся на кладбище строения. На протяжении существования гетто оно было одним из мест казни «провинившихся». Вместе с убитыми на улицах гетто и по пути к местам массовых расстрелов в Румбуле под Ригой 30 ноября и 8 декабря 1941 года, а также участниками действовавшей в гетто группы Сопротивления (31 октября 1942 года) на нем захоронены около 2000 узников Рижского гетто (кладбище входило в его черту). Кладбище не сохранилось: в 1960 году надгробия на нем были снесены и на его месте устроен Парк коммунистических бригад. В 1994 году там был установлен памятный камень и восстановлено название «Старое еврейское кладбище».

Руины молельни на Старом еврейском кладбище
в Риге, сожженной 4 июля 1941 года.
Фото 40-х годов

рают у них документы, а [тех], у кого [их] нет, стараются опознать. Привезли мальчика лет двенадцати. Чудный, красивый ребенок в серой шубке с меховым воротничком, в новых сапожках. Лежал он на спине с широко открытыми голубыми глазами на восковом личике. Револьверная пуля попала в затылок, и только часть воротничка была залита кровью. Лежал он, как кукла, и как-то не верилось, что он еще недавно был живым и, может, веселым ребенком.

Нас сменили другие, а мы идем теперь копать могилы. Пока никого из близких не видел среди убитых, но уверен, что Алины старики будут среди них. Копаем яму у сожженной синагоги кладбища[22]. Рядом деревья, и придется еще бороться с корнями. Земля так замерзла, что приходится откалывать куски, как от камня. Тяжелая физическая работа — спасение. Не замечаешь, как из губы течет кровь, и не чувствуешь боли. Слишком болит сердце, но и оно скоро перестанет ощущать что бы то ни было. Нет ясных мыслей, все какие-то обрывки. Внешне спокоен, закуриваю, сплевываю кровь и, не замечая того, продолжаю кусать губы.

Наконец мы пробили замерзший слой земли, вырубаем корни, и яма заметно начинает углубляться. Могила большая, приблизи-

[22] Имеется в виду кладбищенская молельня, сожженная вместе с людьми 4 июля 1941 года.

тельно два на пять метров. Посредине что-то твердое. Начинаю долбить лопатой. Песок сыпучий, и трудно разглядеть, что это. Ударяю сильнее и выбрасываю песок, с песком — кусок материи с мясом. Это еще осенняя жертва. Оставляем труп на месте и продолжаем углублять яму вокруг него, получается, как остров. Мы уже по грудь в земле, еще метр и начнем хоронить. Часть трупов уже перенесли к нам. Их пока положили у уцелевших стен синагоги, некоторые прислонили в полусидячем положении. Какой жуткий контраст между чистым, ясным небом и этими кровью залитыми лицами.

Приходит к нам наш полицейский предупредить, чтобы теперь никто не выходил с кладбища и не подходил к ограде. Оказывается, что некоторые улицы — крайние — не успели за ночь «очистить»,

На Старом еврейском кладбище.
Рисунок *Артура Ритова*

Домик с мансардой у ворот Старого еврейского кладбища.
Современный вид

и теперь пройдет последняя колонна. [Полицейский] говорит, что всех любопытных будут расстреливать. В правдивости его слов сомневаться не приходится. Работа как-то осеклась, прислушиваемся и ждем. Ждать недолго, скоро слышим знакомые окрики. Над оградой появляются головы и плечи конных патриотов, за оградой — шарканье многих ног. Перед нами ворота кладбища, они сплошные железные, но отстают от земли на 25—30 сантиметров. Стоя в яме, видишь бесконечное количество ног. Ноги движутся осторожно, мелкими шажками, боясь поскользнуться. Все почти женские, иногда мелькают маленькие ножки детей. Изредка — палка, ощупывающая дорогу, тут же — игривые конские копыта. На *Žīdu ielā*[23] в маленьком домике, в мансардной комнате, отодвинута занавеска и видны лица нескольких женщин. На них — ужас, немой упрек

[23] Улица Жиду (*латыш.*). Эта улица, проходящая вдоль Старого еврейского кладбища и с 1868/69 года носившая название Еврейской (*Ebreju*), в 1923 году была переименована в *Žīdu* (Жидовскую). С 1942 года она носила еще три названия. В 1990 году восстановлено историческое название — *Ebreju*.

и сочувствие — жители Московского района[24]. Сохраняется культурность и гуманность: не стреляют — из домов вне гетто могут увидеть, а это — лишнее. Ноги [узников] и головы всадников. Как много они говорят, как много горя в этих ногах и какая наглость и удовлетворенность сквозит из этих голов и плеч. У нас нет оружия, есть только ненависть и жажда мести — этим горю не помочь. За оградой удивительно тихо, изредка слышен детский плач или окрик погонщиков. Все проходит на свете, прошла и последняя колонна. Ног больше не видать, всадники медленно удаляются. Одна из женщин в окне подносит к глазам платок. Занавеска опускается.

Перед нами спокойно лежат и полусидят трупы. Их лица не изменились. Мы тоже уже почти трупы, только еще живые. Внутри что-то оборвалось, стало как-то совсем пусто и почти легко. Не могу отделаться от чувства, которое испытываешь, когда видишь, как гонят на бойню стадо овец, — тоже много-много ног, тоже беззащитные и не знающие, куда их гонят, запуганные существа.

Старое еврейское кладбище, разоренное нацистами.
Фото 40-х годов

[24] Название нынешнего Латгальского предместья Риги в 1941—1991 годах.

Наша яма готова, но хоронить будет другая смена, она уже явилась, и мы можем пойти отдохнуть. Почему-то снимаю с руки обручальное кольцо и зарываю на дне могилы. С ним я хороню прошлое и надежду. Ясно чувствую, что это конец — так можно гнать людей только на смерть, а не на жизнь. Это чувство в душе, разум его еще не признает. Разум говорит: этого быть не может.

Идем к первым воротам, хочется взглянуть на новопривезенные трупы — может, среди них свои. Идем по узкой снежной дорожке среди старых могил. Солнце уже низко и бросает длинную неровную тень. На этом кладбище где-то похоронен папа, не помню где. Кладбище старое, на нем уже много лет никого не хоронили. Не ждало оно такого наплыва покойников.

У ворот ряды трупов не уменьшаются, только теперь это уже другие. Хожу и приглядываюсь. Несколько знакомых лиц — старики. За кустами, в метрах семидесяти слева от ворот могила готова, и туда спешно несут трупы. Просят и нас помочь. Дорожки среди могил узкие, и на саночках [везти] нельзя, несем на носилках. Они как будто выкрашены в красный цвет — [так] обильно пропитаны кровью. Пальцы моей левой руки все разжимаются, с трудом могу держать ручку носилок. Труп довольно тяжелый, а дорожка неровная. Почему-то боишься уронить мертвеца и напрягаешь все силы. Наша ноша — одна из последних, могила уже почти полна. С одной стороны — женщины, с другой — мужчины. Складывают, как дрова, стараются поплотней, чтобы сэкономить место. При случае становятся на нижний ряд, обряд похорон забыт. Кто-то ведет счет — 82 уже есть, но до ста не дотянуть — уже мало места. Кое-как укладывают еще четырех, больше никак нельзя, и так уж слишком много. Последние носилки проносят дальше — к другой могиле. Могил еще много.

Солнце все ниже, надо торопиться с работой. Яма быстро заполняется мерзлым песком. Вырастает большой светло-желтый бугор. Все тихо, только за оградой движение, слышно поскрипывание саней и тележек, держащих путь на кладбище. И вот, человек сорокпятьдесят евреев, как будто по молчаливому уговору, становятся полукругом лицом к востоку у могилы. Вперед выходят несколько человек, они только что похоронили кто свою мать, кто — отца. В тишине над могилой раздается Кадиш[25]. Хором повторяют: аминь.

[25] Кадиш («священный») — славословие Богу и Его могуществу, читаемое также как поминальная молитва.

Когда появляется нож и вышедшие вперед, надрезав одежду, ее безжалостно разрывают[26], что-то разрывается в толпе, и начинается общая восточная молитва. Я не молюсь — не умею и не считаю нужным уметь, но стою, как завороженный, не чувствуя тела, только сердце хочет выскочить из груди, какой-то ком в горле, по затылку ползут мурашки.

Мне раньше часто приходилось бывать на похоронах — еврейских, русских и других. Я неделями работал на кладбищах, устанавливая памятники. Кроме неприятного, иногда даже смешного, [другого] впечатления они не оставляли. Видел, как у кантора или попа слезы в голосе и глазах росли прямо пропорционально богатству покойника. Видел, как кантор[27] рыдающим голосом отпевал богача и, спеша, торопливо бормотал молитву над могилой бедняка. Не любил и презирал эту комедию.

Сегодняшняя молитва ничего общего с теми не имела, она была сильнее понимания и разума. Я слов [ее] не понял, и смысл мне непонятен, знаю только, что этой молитвы никогда не забуду, знаю, что эта картина каленым железом выжжена в моей памяти.

* * *

Наша группа небольшой колонной тянется в «маленькое гетто». Уже сумерки. Улица, по которой мы проходим, почему-то еще не убрана, нет только трупов, на их месте остались красные пятна. Их много. Они больше не производят впечатления. Привыкли. Чувствуешь усталость и голод, внутри — пустоту и спокойствие. Все кажется почти не действительностью, а мы сами — какими-то действующими лицами, но тоже полувымышленными.

В нашей квартире уже полно народу, в лицо ударил дым от подгорелых картофельных блинов, пар и приятное тепло. Изька и Мотка работали в группе по уборке улиц, и им разрешили взять из покинутых квартир съестное. Принесли небольшой чемоданчик с сыром, масло, солонину и консервы. О происшедшем стараемся не говорить, по крайней мере, сейчас. Герцмарк взялся за кулинарию.

---

[26] Разрывание (надрывание) на себе одежды — один из атрибутов иудейского траурного ритуала, что выражает боль от утраты, которую переживает скорбящий.

[27] Кантор (*латин.* «певец»; *др.-евр.* хазан) — лицо, ведущее иудейское богослужение.

Мотка сегодня тих. Он забежал в квартиру сестры и нашел на лестнице ее паспорт. Теперь ломает себе голову, что это может означать. Изька в свою и мою квартиру попасть не мог, так как работал в другом конце гетто. Кроме продуктов, он ухитрился обзавестись часиками и портсигаром, появились папиросы и табак. Все както увлеклись этими богатствами, и это отодвинуло из сознания акцию.

Покушав и напившись чаю, прилег и сейчас же заснул. Проспал несколько часов как убитый без снов и кошмаров. Проснулся только часам к десяти. Медленно прихожу в себя. Напротив, на тахте сидит Герцмарк, сжав голову руками. Глаза его полны слез, но лицо сухое. Губы его только повторяют без конца: «Бедные, бедные». Как ножом полоснуло по сердцу. Мигом все предстало в живых и ярких красках. Пролетело видением все. Я увидел, как в моем маленьком домике разлетаются двери, как в него врываются [люди] с зелеными повязками. Как Аля наспех закутывает Диму, выхватывает из кроватки сонную девочку. Как мама дрожащими руками помогает. Как Чарли с перепугу забился в угол, а пьяные бандиты понукают и отпускают шуточки. Видел, как Аля с мешком на плечах толкает колясочку с девочкой, мама с мешком на спине ведет за руку Диму. Как они становятся в колонну. Ждут, мерзнут, ждут. Что у них было на душе, что они переживали и пережили в гетто и дальше, не дано нам знать, эту тайну они забрали с собой. Куда? Этого я еще не знаю.

С нами иногда происходят необъяснимые вещи. Вот и со мной тоже. Как-то не думая, беру карандаш и бумагу и пишу — пишу стихотворение. «Акция». Перед глазами картина, рифма приходит сама собой. Странно, я стихов не пишу.

В большой комнате публика разная. Проявление горя тоже различное. Некоторые лежат и стеклянным взглядом уперлись в потолок. Иные громко призывают Бога. Некоторые судорожно рыдают. Один маленький человек, похожий на японца, строит планы мести и захлебываясь купается в воображаемой крови врагов. Он никого не пожалеет — женщин, детей, все равно, он будет резать их ножом, как кур. Он в экстазе. Его почти никто не слушает: слишком сильно настоящее, чтобы в мыслях улетать в будущее.

Поздно, но никто не укладывается на ночь, чего-то как будто ждут. Не верится, что нас оставят в покое. Все как-то уверены, что в любой момент нас тоже могут погнать в какой-то лагерь.

Резко открывается дверь, все невольно вскакивают, появляется еврейский полицейский с блокнотом в руках. Приказ коменданта гетто[28]: к шести часам утра предъявить точный подсчет всех евреев. К восьми часам все без исключения должны собраться на [улице] Виляну. [Полицейский] предупреждает, чтобы никто не оставался дома, так как проверять будут немцы и «ленточные», кого найдут — угостят пулей. Как они щедры насчет этих пуль!

О сне, конечно, больше никто не думает. Строятся всякие предположения. Все без исключения пессимистические, радужных перспектив как-то нет. Считаемся с возможной акцией, но она нас, вернее, большинство, не слишком волнует. Мы уже ко всему привыкли, [да] и что с нами вообще может случиться! Многие, в том числе и я, думаем, что это просто для распределения рабочих рук, [чтобы] навести немецкий порядок и употребить нас с максимальной [для немцев] пользой. Это кажется логичным и наиболее вероятным. Поживем — увидим, а теперь все же нужно лечь, силы во всяком случае будут нужны.

Герцмарк, оказывается, меня уже сегодня внес в список работающих при техническом отделе. Технический отдел выстроится, конечно, особо, это «аристократия» гетто — самые нужные люди. Антоколь (начальник отдела) требует работы усердной, но отстаивать интересы своих подчиненных тоже умеет, это мы еще помним со времен «большого гетто». Мы все еще думаем и надеемся, что семьи наши в лагере, и это увеличивает цену нашей жизни, и хочется ее по мере возможности сохранить подольше. За Антоколем она как будто бы в меньшей опасности: уж слишком он, даже будучи в гетто, сознает свою силу.

В семь часов утра приходим в технический отдел. Помещается он рядом с нами в большой жилищной казарме номер 24. Всего одна комната, у самых дверей плита. Квартира пролетариев. Народу там еще мало. Бывший директор еврейского техникума[29] инженер [Мендель] Заславский греет на плите воду. Когда-то он носил красивую

[28] До акций уничтожения узников Рижского гетто 30 ноября и 8 декабря 1941 года управляющий гетто Фридрих Браш был подотчетен аппарату обер-бургомистра Риги Хуго Витрока. Однако фактически гетто контролировала не «гражданская» администрация, а оберштурмфюрер (старший лейтенант) СС Курт Краузе, который 10 декабря объявил себя комендантом гетто, каковым он являлся до января 1943 года.

[29] Имеется в виду Еврейское ремесленное училище (находилось на улице Абренес, 2).

Мендель Заславский.
Фото 1935 года

окладистую седую бороду, теперь для моложавости ее сбрил, и его трудно узнать. Миша Лат, бывший учитель гимназии, ведет «бухгалтерию». Вот уж не похож на семита. Высокий светлый блондин с голубыми глазами, правильные черты лица, говорит с московским произношением — тип северной расы. Рассказывает, что видел Ванда («префекта»), от которого узнал, что в гетто 4400 с чем-то евреев, узнал, что, как мы и предполагали, будет распределение рабочей силы вне гетто.

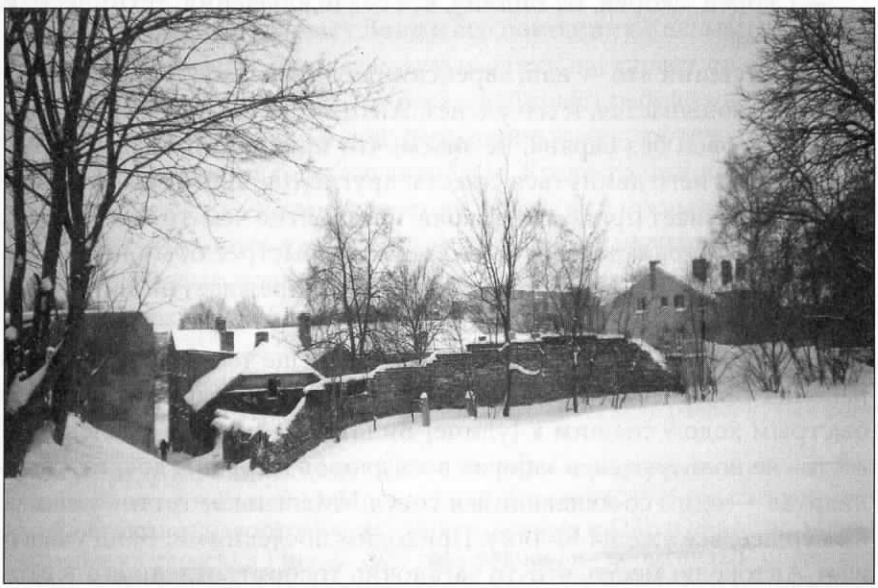
Постепенно начинает прибывать публика, и в комнате становится все тесней. Около восьми является сам Антоколь и заявляет, что технический отдел и амбулатория как необходимые в самом гетто на «парад» не пойдут. И то хлеб.

Стоим с Герцмарком у окна и смотрим на вымершее гетто. Еще позавчера к небу поднимались столбы дыма, сегодня все мертво, только кое-где по покрытому снегом двору прошмыгивает покинутая кошка, да пролетит стайка голодных голубей. Мы на третьем этаже, напротив, в «большом гетто», почти все дома маленькие, и видно далеко. Все мертво, никого.

Напротив нашего окна — улица Ликснас, номер 5. Вдоль улицы — высокий дощатый забор, дома нет. За забором — большой двор. Посреди черная покосившаяся одноэтажная постройка — бывшая столярная мастерская. В глубине старый «газетный киоск» — одинокая уборная, два-три деревца — это все.

К величайшему удивлению, замечаем над трубой хибарки тонкую, еле заметную струйку дыма. Странно, дом вчера должен был опустеть. Но, видно, не заметили и пропустили. «Что там происходит? Кто они, забытые, и что с ними будет?» — проносится в мыслях.

От дома к уборной через глубокий снег видны следы. Двери дома как-то осторожно открываются, и неуверенной походкой выходит пожилая женщина. Стараясь попасть ногами в старые следы, она направляется к одинокой будочке. Пока она там, из дома выходит еще одна женщина — молодая и совершает тот же путь. Потом они стоят у порога своего жилья и, видно, что-то обсуждают. Они очень волнуются — на это указывает нам их хождение по следам через двор. То и дело одна из них торопится к «киоску». Видно, за сутки их нервы перетянуты. Молодая подходит к воротам, через щель смотрит на улицу, но опять возвращается к дому. Снова что-то обсуждают. Теперь к воротам идет старуха, мы видим, как нажимается ручка калитки, но женщина не решается ее открыть. Снова путешествие через весь двор. Теперь, видно, нервы окончательно сдали — обе идут к воротам. Калитка робко приоткрывается. Высовывается бледное лицо, и рука делает знак часовому подойти. Не



Двор на улице Ликснас, 5.
Современный вид

торопясь, солдат подходит. Ему что-то объясняют. Взглянув на номер дома, он вразвалку уходит.

Не выдержали страха и неизвестности. Сами позвали смерть. Как в немом фильме, перед нашими глазами разыгрывается печальная трагедия, мы с напряжением и ужасом ждем развязки. Недолго. Минут через десять подходят бодрым шагом двое молодцов в повязках, без винтовок, на ремне только невинные пистолеты. Они исчезают за воротами, затем в домике. Выходят они оттуда уже в сопровождении старухи и, наверно, [ее] дочери, у молодой на руках ребенок. Вещей никаких, даже сумочек, — зачем? Что им сказали, что они думают, мы не знаем. Не могут они так спокойно и послушно идти на смерть! До кладбища минут десять, не больше. Мы не выдерживаем и открываем первые рамы, прикладываем ухо к стеклу и, затаив дыхание, прислушиваемся. Десять минут тянутся бесконечно долго. Ясно слышны револьверные выстрелы — один, два, три и почему-то еще четвертый. Один выстрел, видно, не удался. Драма окончилась просто и скоро. Сейчас начнется новая, другая.

Стоим у окна, все еще находясь под впечатлением только что пронесшейся перед нашими глазами картины. Возвращает нас к действительности резкий толчок в дверь.

— Скорей, скорей, на Виляну, все без исключения, технический отдел тоже!

Крикнувший это — наш еврейский полицейский. Через секунду дверь захлопывается, и его уж нет. Антоколь куда-то вышел, и мы, как стадо овец без барана, не знаем, что предпринять. Некоторые не хотят без него двинуться с места, другие торопят с выходом. Все споры разрешает приход Антоколя. Он заметно чем-то взволнован, красен, как бурак, даже речь его немного быстрее обычного. Ни в какие обсуждения он не пускается, но предупреждает не становиться в другие ряды и строго слушаться его.

Спустившись вниз, мы на дворе застаем еще человек пятнадцать рабочих технического отдела. Выстраиваемся в колонну по двое и быстрым ходом спешим к [улице] Виляну. Улицами в «маленьком гетто» не пользуются, в заборах всех дворов вырваны доски, и весь квартал — один сообщающийся сосуд. «Маленькое гетто» уже как вымершее, все уже на Виляну. Приходим последними. Ванд указывает Антоколю место, что-то загадочно говорит, отведя его в сторону. Ванд по приказанию немцев, если даже он что-то знает, тоже будет молчать, [как и] Антоколь, и винить их за это нельзя.

На [улице] Виляну евреи выстроены, как войска на присяге — в каре[30]. На беглый взгляд, человек две — две с половиной тысячи. Остальные — на работе в немецких войсковых частях. На углу Лудзас — группа немцев и «ленточных». У немецкого офицера полиции в руках какая-то бумажка, и он что-то объясняет нашему «милому» Данцкопу. То, что сегодня присутствует последний, ничего хорошего не предвещает. Раз появился Данцкоп, значит пахнет кровью. Нет дыма без огня.

В такую изумительную погоду, как сегодня, к тому же утром, когда так светло, что от сверкающего на солнце снега глазам больно, всякая акция или тому подобное кажется особенно мерзкой, даже как будто невозможной. Такой день дан, чтобы жить, дышать и радоваться солнцу и свету. Может, другие это не так замечают, но мне в такую погоду и при таком солнце не верится в возможность смерти. Вообще умирать нужно вечером, ночью или в дурную погоду.

Мысль о возможной акции умело прогонят. Акции существуют только в нашей фантазии. Сейчас нас опять обманут, и мы этого не заметим. Разницы, конечно, большой нет, [но] все же удобнее и спокойнее нас бить, если мы заранее этого не знаем. Немцы — народ «культурный». Можно делать все, лишь бы «культурно».

На зов немца подбегает Ванд и его помощник Кельман[31]. [Немец] что-то им говорит, приказывает, и опять наступает ожидание. По каре разносится «радостная» весть: набирают рабочих для постоянной работы. Как будто в подтверждение этому, к углу Лудзас и Виляну подкатывают голубые автобусы. Когда-то они поддерживали сообщение в Риге, во время военных действий пропали, теперь [мы] впервые [их] опять увидели. Как-то даже не верится, что с таким комфортом нас повезут на работу, но других пассажиров, кроме нас, им здесь не набрать, а напрасно тратить бензин они не будут.

---

[30] Каре (фр. *carré* — квадрат) — боевой порядок пехоты в виде квадрата (прямоугольника) каждую сторону которого составлял развернутый вовне строй.

[31] Артур (Арон) Кельман (1887—1944/45) — предприниматель, общественный деятель. Родился в Митаве (ныне Елгава). С 1925 года член правления обществ здравоохранения «Бикур-Холим» и ОЗЕ (Общество здравоохранения евреев) в Риге. С 1926 года руководил спортивным обществом «Маккаби» в Латвии. В Рижском гетто входил в еврейскую полицию, являлся старостой «малого гетто». Погиб в концлагере Бухенвальд (Германия).

Артур (Арон) Кельман.
Фото 30-х годов

Добровольцев ездить на работу в автобусах найдется хоть отбавляй, расчет правильный. Не будь Данцкопа со своими «ленточными», ни у кого не было бы сомнения в правильности этих слов, а так…

Наконец немец в сопровождении Станке и Тухеля покидает латышей и направляется, все еще держа в руке бумажку, к нам. Все разговоры и всякое движение сразу замирает, и все с напряжением ждут.

— Внимание! В первую очередь мне нужны ремесленники — портные, сапожники, заготовщики[32], механики и т. д. Кто хочет на работу — выходи!

Желающих ремесленников много, но немец очень скромен и берет по два-три человека из каждой категории. Выстроив их в колонну, велит «ленточному» вести к автобусу. Некоторые просят разрешения забежать к себе за инструментами для работы. «Ленточный» только отмахивается. Первый автобус уже кажется подозрительным. Евреи уместились внутри, а вся площадь занята «ленточными». Странная поездка на работу. Как-то сразу спокойствие и медлительность сменились спешкой. Отсчитывая по 20—30 человек, сажают в машины. Теперь многие стараются от этой работы увильнуть, но немцы и патриоты зорко следят. К нашей группе подхо-

[32] По всей вероятности, имеется в виду сапожное ремесло, где заготовщик выкраивает и сшивает верхнюю часть обуви.

дит Станке и начинает отсчитывать. Ну, что же, поедем и мы. В это мгновение Антоколь снова проявляет себя львом. И так уже красный, он буквально налился кровью. Став перед нами, как курица перед своим выводком, он просто заявляет, что не даст ни одного человека, что без нас, хотя бы [без] одного человека, он не сможет отвечать за санитарные условия в гетто, что мы необходимы и что, если [Станке] хочет [кого-то] взять, то пусть [забирает] всех, но тогда в гетто не сегодня-завтра начнутся эпидемии и зараза. Этим он попал в точку, этого больше всего боятся наши «культуртрегеры»[33]. Какая разница для Станке? Ему нужен счет, а не люди. Хорошо, что ему не захотелось показать свой авторитет и упрямство. Даже не ответив Антоколю, он переходит к группе рядом. Десять, пятнадцать, двадцать — марш к автобусам. Находятся среди нас и недовольные Антоколем, говорят, что [он] должен был узнать, нет ли среди нас желающих работать вне гетто, а не разыгрывать роль диктатора. Антоколь даже не реагирует на это. Его мясистое лицо ничего не выражает, кроме презрения к этим господам. Немец смотрит на свою бумажку и кричит, что ему нужен еще 51 человек. Видно, ведет точную бухгалтерию.

С отправкой последней партии [рабочих] на автобусах всякая «культурность» сразу исчезает. В опустевшем гетто раздаются выстрелы. Оставшихся на [улице] Виляну разбивают на группы и ведут работать в «большое гетто». То и дело пускают в ход палки и ноги. Патриотам тоже разрешили действовать, и они стараются вовсю угодить освободителям человечества. По чердакам и подвалам, не говоря о квартирах, ведется азартная охота за не явившимися на смотр. Пока подробностей не знаем, слышим только стрельбу и крики. Среди всей этой шумихи проносится луч надежды. В дом на Лудзас, кажется, номер 60, привезли из города еврейских женщин[34].

---

[33] Культуртрегер (нем. *Kulturträger* — носитель культуры) — ироничное название завоевателей, прикрывающих порабощение захваченных ими стран насаждением более высокой культуры.

[34] 29 ноября 1941 года во второй половине дня в гетто был вывешен плакат, сообщавший, что женщинам, у которых есть навыки швеи, следует зарегистрироваться в «юденрате». Записались около 300 женщин. Вечером их перевели в Срочную тюрьму у железнодорожной станции Браса в Риге. Примерно 2—3 декабря к ним присоединились еще около 200 женщин. В тюрьме они оставались около двух недель, и 5 декабря их привезли обратно в гетто и поместили в двух строениях через улицу от «малого гетто», на улице Лудзас, 66/68—70. В дальнейшем это место стало известно как «женское гетто».

Дом на улице Лудзас, 66/68.
Современный вид

Немецкие воинские части, узнав заранее о готовящейся акции, задержали занятых у них на работе евреек и несколько суток не отпускали в гетто. Теперь, заручившись обещанием их не трогать, привезли их. У меня лично надежд, конечно, нет, так как никто из моих у немцев не работал, несмотря на это [испытываю] радость за уцелевших.

Нашей группе технического отдела поручено в кратчайший срок, привести в порядок предназначенный [для женщин] дом. Известие о наличии нескольких сотен женщин всех как-то заставило забыть происходящее кругом, все только жаждут поскорей узнать, кто они, у многих надежда, у части она оправдается. Несколько сотен женщин спасены, надолго ли? Нам думать некогда, скорей за инструментами и за работу. Пробегая в технический отдел, мы на дворе натыкаемся на труп. Его, как видно, только что пристрелили, так как кровь еще не сошла и продолжает сочиться из раны. Мы заняты другими мыслями, к тому же уже так привыкли к этому, что даже не задерживаемся и через несколько минут уже позабыли [об этом].

Дом на углу Лудзас и Ликснас спешно обносится проволочным забором. На дворе видны женщины. Они, так же как и мы, сгорают

от нетерпения узнать об участи своих близких. На площадках лестницы толпятся женщины с детьми. Большая часть квартир заперта, и мы их взламываем. Внутри обычный вид: разрытые постели, на полу — груды одежды, на столах — остатки еды. Свет горит, бумага на окнах спущена. Повсюду следы торопливых сборов и насилия. Чуть только мы взломаем или отомкнем дверь, как в квартиру вваливаются группы женщин, желая как можно скорее обеспечить ее за собой. В одном случае дело дошло чуть ли не до драки, приходится почти силой наводить порядок. Еще недавно владеющие собой и воспитанные люди превратились в загнанных зверей, борющихся за теплый угол. У одной из женщин родовые схватки. Кто-то из мужчин обещает организовать в этом хаосе помощь. Я и Герцмарк заняты установкой печурок: пробиваем дыры в дымоходы, ставим трубы. На улице стрельба — то реже, то принимает характер настоящей перестрелки. Акция в полном разгаре.

На лестнице встречаем двух женщин, у одной на руках маленький мальчик двух-трех лет, за руку она тянет старшего сынишку. Оказывается, что это жена доктора Фрейдмана. Он их спас от второй акции — высылки, спрятав в каком-то старом сарае. Теперь он решил их укрыть в доме для спасенных. Женщины с детьми стремятся по лестнице все выше, но их догоняет резкий окрик — вернуться. Они в нерешительности останавливаются. К ним подбегает еврейский распорядитель и решительно уговаривает спуститься, так как Данцкоп не разрешает здесь остаться. Они медленно плетутся назад. Больше мы их не видали.

Под нашими окнами гудят моторы синих автобусов. Они все еще загружаются людьми для поездки в Бикерниекский лес «на работу». На учебном стрельбище по сигналу трубача открывают и прекращают стрельбу. Так и у нас она как будто по сигналу прекратилась, оборвалась, и сразу наступила тишина. Ровно в 12.30 кончилась одна фаза массовых убийств. Говорят, что все уцелевшие теперь в относительной безопасности. Один синий автобус вернулся с полпути, не успев до 12.30 доставить свой груз до места назначения. В нем оказались два врача, отравившиеся по дороге. Теперь их осуждают, но, может быть, они, в конце концов, все же правы.

Изредка к нашему дому подъезжает грузовик со спасенными женщинами. На площадке лестницы наталкиваюсь на служащего нашего технического отдела Ботвинкина, нашедшего среди только что прибывших свою жену. Они еще молодые люди и не скрывают

Иосиф Ботвинкин.
Фото 1923 года

Сарра Ханна Ботвинкина.
Фото 1931 года

своей радости. На время забыто все, кроме встречи. Стараюсь радоваться за них, но одновременно появляется чувство зависти, и еще острее проступает страх за участь моей жены и детей. Еще наталкиваюсь на моих знакомых Скольник — мать с двумя дочерьми. [Сам] Скольник[35], неплохой художник, погиб в первых числах июля. Они несколько дней прятались в погребе, не пожелав переселяться в лагерь. Если бы их нашли, то тут же убили бы, но они рискнули, и им посчастливилось.

Нашу работу мы выполнили и собираемся в «маленькое гетто». Жаль покидать женщин, чужих, но теперь нам близких и почти родных. Хорошо, что хотя бы часть [их] спаслись, мы будем им помогать всеми силами, ведь каждая женщина и каждый ребенок теперь являются как бы символом наших собственных жен и детей. Теперь, задним числом, мы себя грызем, что не сумели уберечь своих, что их не запрятали, не укрыли, что дали их угнать, как стадо овец.

---

[35] Давид Скольник (1878—1941) — живописец и скульптор, общественный деятель. Родился в Риге. Председатель общества еврейских художников Латвии и член Латвийского общества изобразительных искусств. Вдова Д. Скольника и его дочери — студентки Латвийской академии художеств Ноэми (р. 1917) и Рута (р. 1920) погибли в Рижском гетто.